

ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА

Глава I

РАССВЕТ

Башня старинного английского собора? Откуда тут взялась башня английского собора? Так хорошо знакомая, квадратная башня — вон она высится, серая и массивная, над крышей собора... И еще какой-то ржавый железный шпиль — прямо перед башней... Но его же на самом деле нет! Нету такого шпиля перед собором, с какой стороны к нему ни подойди. Что это за шпиль, кто его здесь поставил? А может быть, это просто кол, и его тут вбили по приказанию султана, чтобы посадить на кол, одного за другим, целую шайку турецких разбойников? Ну да, так оно и есть, потому что вот уже гремят цимбалы, и длинное шествие — сам султан со свитой — выходит из дворца... Десять тысяч ятаганов сверкают на солнце, трижды десять тысяч алмей* усыпают дорогу цветами. А дальше белые слоны — их столько, что не счесть, — в блистающих яркими красками пополах, и несметные толпы слуг и провожатых... Однако башня английского собора по-прежнему маячит где-то на заднем плане — где она быть никак не может, — и на колу все еще не видно извивающегося в муках тела... Стой!

* Восточная танцовщица.

А не может ли быть, что этот шпиль — это предмет самый обыденный — всего-навсего ржавый шип на одном из столбиков расхлябанной и осевшей кровати? Сонный смех сопровождает эти догадки и размышления.

Человек, чье разорванное сознание медленно восстанавливалось, выплывая из хаоса фантастических видений, приподнялся наконец, дрожа всем телом; опершись на руки, он огляделся кругом. Он в тесной жалкой комнатушке с нищенским убранством. Сквозь дырявые занавески на окнах с грязного двора просачивается тусклый рассвет. Он лежит одетый, поперек неопрятной кровати, которая и в самом деле осела под тяжестью, ибо на ней — тоже поперек, а не вдоль, и тоже одетые — лежат еще трое: китаец, ласкар* и худая изможденная женщина. Ласкар и китаец спят — а может быть, это не сон, а какое-то оцепенение; женщина пытается раздуть маленькую, странного вида, трубку. При этом она заслоняет чашечку костлявой рукой, и в предрассветном сумраке рдеющий уголек бросает на нее отблески, словно крошечная лампа; и пробудившийся человек видит ее лицо.

— Еще одну? — спрашивает она жалобным хриплым шепотом. — Дать вам еще одну?

Он озирается, прижимая руку ко лбу.

— Вы уже пять выкурили с полуночи, как пришли, — продолжает женщина с той же, видимо, привычной для нее, жалобной интонацией. — Ох,

* Матрос-индиец.

горюшко мне, горе, голова у меня все болит. Эти двое уж после вас пришли. Ох, горюшко, дела-то плохи, плохи, хуже некуда. Забредет китаец какой из доков, да вот ласкар, а новых кораблей, говорят, сейчас и не ждут. Ну вот тебе, милый, трубочка! Ты только не забудь — цена-то сейчас на рынке страх какая высокая: за этакий вот наперсток — три шиллинга шесть пенсов, а то и больше еще сдерут! И не забывай, голубчик, что только я одна знаю, как смешивать, — ну и еще Джек-китаец на той стороне двора, только где ему до меня! Он так не сумеет! Так уж ты заплати мне как следует, ладно?

Говоря, она раздувает трубку, а иногда и сама затягивается, вбирая при этом немалую долю ее содержимого.

— Ох, беда, беда, грудь у меня слабая, грудь у меня больная! Ну вот, милый, почти уж и готово. Ах, горюшко, эх рука-то у меня дрожит, словно вот-вот отвалится. А я смотрю на тебя, вижу, ты проснулся, ну, думаю, надо ему еще трубочку изготовить. А уж он попомнит, какой опиум сейчас дорогой, заплатит мне как следует. Ох, головушка моя бедная! Я трубки делаю из чернильных склянок, малюсеньких, что по пенни штука, вот как эта, видишь, голубчик? А потом прилажу к ней чубучок, вот этак, а смесь беру этой вот роговой ложечкой, вот так, ну и все, вот и готово. Ох, нервы у меня! Я ведь шестнадцать лет пила горькую, а потом вот за это взялась. Ну да от этого вреда нету. А коли и есть, так самый маленький. Зато голода не чувствуешь и тратиться на еду не надо.

Она подает наполовину опустевшую трубку и, откинувшись на постель, переворачивается вниз лицом.

Пошатываясь, он встает, кладет трубку на очаг, раздвигает рваные занавески и с отвращением оглядывает троих лежащих. Он отмечает про себя, что женщина от постоянного курения опиума приобрела странное сходство с китайцем. Очертания его щек, глаз, висков, его цвет кожи повторяются в ней. Китаец делает судорожные движения — быть может, борется во сне с каким-нибудь из своих многочисленных богов или демонов — и злобно скалит зубы. Ласкар ухмыляется; слюни текут у него изо рта. Женщина лежит неподвижно.

Пробудившийся человек смотрит на нее сверху вниз, стоя возле кровати; потом, нагнувшись, поворачивает к себе ее голову.

«Какие видения ее посещают? — раздумывает он, вглядываясь в ее лицо. — Что грезится ей? Множество мясных лавок и трактиров, где без ограничений отпускают в кредит? Толпа посетителей в ее гнусном притоне, новая кровать взамен этого мерзкого одра, чисто подметенный двор вместо зловонной помойки за окном? Выше этого ей все равно не подняться, сколько ни выкури она опиума! Что?..»

Он нагибается еще ниже, вслушиваясь в ее бормотание.

— Нет, ничего нельзя понять!

Он опять смотрит на нее: по временам ее всю словно встряхивает во сне; судорожные подер-

гивания сотрясают ее лицо и тело — так иногда ночью от беглых молний содрогается темное небо; и это, видимо, заражает его — настолько, что он вынужден отойти к облезлому креслу у очага, поставленному так, возможно, именно на такой случай, и посидеть, крепко ухватившись за ручки, пока ему не удастся одолеть злого духа подражания. Потом он опять подходит к кровати, хватается китайца за горло и поворачивает его лицом к себе. Китаец противится, пытается отодрать его руки, хрипит и что-то бормочет.

— Что?.. Что ты говоришь?

Минута настороженного ожидания.

— Нет, нельзя понять!

Сдвинув брови, внимательно вслушиваясь в несвязный лепет, он медленно разжимает руки. Затем оборачивается к ласкару и попросту сбрасывает его с кровати. Грохнувшись об пол, тот приподнимается, сверкает глазами, делает яростные жесты, замахивается воображаемым ножом. И тут выясняется, что женщина еще раньше, безопасности ради, отобрала у него нож; ибо теперь она тоже вскакивает, кричит, унимает его, и, когда наконец оба рядом валяются на пол, вновь охваченные сном, нож ясно обозначается не у него, а у нее под платьем.

Шуму и крику было довольно, но трудно было что-либо во всем этом разобрать. Если и прорывались отдельные слова, то без смысла и связи. Поэтому третий, пристально следивший за ними, выводит прежнее свое заключение:

— Нет, ничего нельзя понять! — Он говорит это с удовлетворенным кивком головы и с мрачной усмешкой. Затем кладет на стол горсть серебряных монет, отыскивает свою шляпу, ощупью спускается по выбитым ступенькам, попутно пожелав доброго утра привратнику, воюющему с крысами в темной своей каморке под лестницей, и исчезает.

В тот же день под вечер массивная серая башня предстает издали глазам утомленного путника. Колокола звонят к вечерне, и, должно быть, ему непременно нужно на ней присутствовать, ибо, ускоряя шаги, он спешит к открытым дверям собора. Когда он входит, певчие уже надевают свои запачканные белые стихари; он достает собственный свой стихарь и, накинув его, присоединяется к выходящей из ризницы процессии. Затем ризничий запирает решетчатую дверь, певчие торопливо расходятся по местам и, склонив головы, закрывают лицо руками. И через миг первые слова песнопения: «Егда прийдет нечестивый» — будят в вышине под сводами и среди балок крыши грозные отголоски, подобные дальним раскатам грома.

Глава II

НАСТОЯТЕЛЬ — И ПРОЧИЕ

Кто наблюдал когда-нибудь грача, эту степенную птицу, столь сходную по внешности с особой духовного звания, тот видел, наверно, не раз, как

он, в компании таких же степенных, клерикального вида сотоварищей, стремится в конце дня свой полет на ночлег, к гнездовьям, и как при этом два грача вдруг отделяются от остальных и, пролетев немного назад, задерживаются там и неизвестно почему медлят; так что невольно приходит мысль, что по каким-то тайным соображениям, продиктованным, быть может, высшей политикой грачиной стаи, эти два хитреца умышленно делают вид, будто не имеют с ней ничего общего.

Так и здесь, после того как кончилось богослужение в старинном соборе с квадратной башней, и певчие, толкаясь, высыпали из дверей, и разные почтенные особы, видом весьма напоминающие грачей, разбрелись по домам, двое из них поворачивают назад и неторопливо прохаживаются по обнесенному оградой гулкому двору собора.

Не только день, но и год идет к концу. Яркое и все же холодное солнце висит низко над горизонтом за развалинами монастыря, и дикий виноград, оплетающий стену собора и уже наполовину оголенный, роняет темно-красные листья на потрескавшиеся каменные плиты дорожек. Днем был дождь, и теперь под порывами ветра зябкая дрожь пробегает порой по лужицам в выбоинах камней и по громадным вязам, заставляя их внезапно проливать холодные слезы. Опавшая листва лежит всюду толстым слоем. Несколько листочков робко пытаются найти убежище под низким сводом церковной двери, но отсюда их безжалостно изгоняют, отбрасывая ногами, двое запоздалых

молельщиков, которые в эту минуту выходят из собора. Затем один запирает дверь тяжелым ключом, а другой поспешно удаляется, зажимая под мышкой увесистую нотную папку.

— Кто это прошел, Топ? Мистер Джаспер?

— Да, ваше преподобие.

— Как он сегодня задержался!

— Да, ваше преподобие. И я задержался из-за него. Он, видите ли, стал вдруг не в себе...

— Надо говорить «ему стало не по себе», Топ. А «стал не в себе» — это неудобно перед настоятелем, — вмешивается более молодой из двоих грачей тоном упрёка, как бы желая сказать: «Можно употреблять неправильные выражения в разговоре с мирянами или с младшим духовенством, но не с настоятелем».

Мистер Топ, главный жезлоносец и старший сторож, привыкший важничать перед туристами, которыми он по долгу службы руководит при осмотре собора, встречает адресованную ему поправку высокомерным молчанием.

— А когда же и каким образом мистеру Джасперу стало не по себе — ибо, как справедливо заметил мистер Криспаркл, лучше говорить «не по себе», да, да, Топ, именно «не по себе», — солидно внушает своему собеседнику настоятель.

— Так точно, сэръ, не по себе, — почтительно поддакивает Топ.

— Так когда же и каким образом ему стало не по себе, Топ?

— Да видите ли, сэр, мистер Джаспер до того задохся...

— На вашем месте, Топ, я не стал бы говорить «задохся», — снова вмешивается мистер Кри-спаркл тем же укоризненным тоном. — Неудобно — перед настоятелем.

— Да, «задохнулся» было бы, пожалуй, правильнее, — снисходительно замечает настоятель, польщенный этой косвенной данью уважения к его сану.

— Мистер Джаспер до того тяжело дышал, — продолжает Топ, искусно обходя возникший на его пути подводный камень, — до того он тяжело дышал, когда входил в церковь, что уж петь ему было труднехонько. И может, по этой причине с ним потом и приключилось что-то на манер припадка. Память у него *затмилась*. — Это слово мистер Топ произносит с убийственной отчетливостью, не сводя глаз с мистера Криспаркла и как бы вызывая его что-либо тут усовершенствовать. — Голова закружилась, и глаза стали мутные, даже боязно было на него смотреть, хоть сам он вроде не жаловался. Ну я его усадил, подал водицы, и он вскорости вышел из этого *затмения*. — Мистер Топ повторяет этот столь удачно найденный оборот с таким нажимом, словно хочет сказать: «Ловко я вас поддел, а? Так нате же вам еще раз».

— Но домой он ушел, уже совсем оправившись?

— Да, ваше преподобие, домой он ушел, уже совсем оправившись. И я вижу, он велел затопить у себя камин, это он хорошо сделал, потому на дворе мокрядь, да и в церкви нынче было ужас как сыро, и мистер Джаспер даже весь дрожал, как в лихорадке.

Все трое обращают взгляд к каменному строению, протянувшемуся поперек двора, — бывшей монастырской привратницей над широкой аркой ворот. В окне с мелким переплетом мерцает огонь, а кругом уже сгущается сумрак, окутывая тенями пышные вороха плюща и дикого винограда на фасаде привратницей. Соборный колокол вдруг начинает отбивать часы, и в тот же миг под налетевшим ветром зыблется листва вдали на фасаде, как будто и ее колеблет мощная волна звуков, гулом наполняющая собор и реющая над башней и гробницами, над разбитыми нишами и выщербленными статуями.

— А племянник мистера Джаспера уже приехал?

— Нет еще, — отвечает жезлоносец. — Но его ждут. Сейчас мистер Джаспер один. Видите, вон его тень? Это он стоит как раз между двумя своими окнами — тем, что выходит сюда, и тем, что на Главную улицу. А вот он задергивает занавески.

— Ну что ж, — бодрым тоном говорит настоятель, давая понять, что происходившее только что маленькое совещание закончено, — надеюсь, мистер Джаспер не слишком отдается чувству привязанности к своему племяннику. В нашем бренном

мире не должно допускать, чтобы наши чувства — пусть даже самые похвальные — властвовали над нами; наоборот, мы должны ими управлять — да, да, именно управлять ими! Однако этот звон не без приятности напоминает мне, что меня ждут к обеду. Быть может, вы, мистер Криспаркл, по дороге домой заглянете к Джасперу?

— Обязательно загляну. Могу я сказать ему, что вы любезно осведомлялись о его здоровье?

— О да, конечно. Осведомлялся о его здоровье. Вот именно. Осведомлялся о его здоровье.

С приятно покровительственным видом настоятель заламывает набекрень свою украшенную лентами шляпу — конечно, только слегка, насколько это прилично столь важному духовному лицу, когда оно в веселом настроении, — и, бодро переступая затянутыми в изящные гетры ногами, направляется к сияющим рубиновым светом окнам столовой в уютном кирпичном домике, где он в настоящее время «имеет свое пребывание» вместе с супругой и дочерью.

Мистер Криспаркл, младший каноник, белокурый и румяный, всегда встающий на заре и не упускающий случая хоть раз в день нырнуть с головой в какой-нибудь подходящий по глубине водоем — реку ли, озеро ли — в окрестностях Клойстергэма; мистер Криспаркл, младший каноник, знаток музыки и античной словесности, приветливый, всем довольный, любезный и общительный, юноша по виду, если не по годам; мистер Криспаркл, недавно еще репетитор в колледже, а нынешнюю свою